

Про Бориса Петровича Чернышёва



Борис Петрович Чернышёв с учениками - Галиной Эдельман и Юрием Ковалём. Примерно 1960 г.

Воспоминания Марка Харитоновича ко Дню Рождения великого русского художника Бориса Петровича Чернышёва - 6 августа 1906 года.

БОРИС ПЕТРОВИЧ ЧЕРНЫШЕВ

Он ходил в потертом пальто, старой ушанке, потрепанных брюках; на улице, при случайной встрече, можно было принять его чуть ли не за нищего - покуда не всмотришься в лицо: удивительной, одухотворенной красоты. Тонкие черты, тонкий, остро изогнутый нос, седеющая борода, рыжая буйная шевелюра, голубые яркие глаза - таким, казалось мне, мог быть Андрей Рублев. (Должно быть, на облик переносилось и впечатление от его работ - они заставляли вспоминать мир древнерусских фресок). В неотмываемо-черной изящной руке - старая клеенчатая кошелка; в нее Борис Петрович собирал по дороге приглянувшиеся камни для мозаики. Он и краски готовил сам из камней, растирал на мраморной доске; фабричные материалы ему не так нравились, да они и денег стоили. Привозил эти камни из разных поездок, в мешках, ящиках, дома рассортировывал. (По его следам мы с женой как-то набрали камней в Ферапонтове - и поняли, какими красками расписывал Дионисий дивный храм Рождества Богородицы). О сохранности своих работ, даже о долговечности материала Борис Петрович мало заботился - многое рисовано на клочках, на оберточной бумаге, обоях даже на газетах (шрифт, просвечивавший сквозь краску, создавал своеобразный эффект). Впрочем, и каменные плиты, как показала жизнь, отнюдь не обеспечивали долговечность. Множество работ было раздрано.

- Я не могу не дарить, когда меня просят, - говорил он как-то. - Знаю, у человека нет 200 рублей, чтобы купить мою работу, а предложить 20 рублей он стесняется. Я с удовольствием дарю. Недавно пришли два физика, один видит, что я в пиджачишке рваном, снял с себя пиджак, вот этот, и подарил мне. А работу попросить постеснялся.

При мысли о Борисе Петровиче мне как-то вспомнились слова философа: "Добродетель (благо) не нуждается в награде (блаженстве), ибо она сама есть блаженство". Спиноза, по обыкновению, формулирует непреложно, как теорему - и, наверне, можно бы ее доказать; все, кому доводилось испытать хоть намеком, хоть краткой вспышкой, счастье подлинного творчества, знают, что выше награды нет и не может быть, что непризнанные гении всех времен были счастливейшими людьми, как трагично ни складывалась их жизнь. Но такое знание не избавляет от повседневной горечи.

Борис Петрович был из тех, кто мало заботится об условиях внешнего существования. Он даже из невзгод и потерь умел что-то извлекать. Однажды стал, например, рассказывать, как при перевозке повредили мозаику, которую он сделал для пансионата "Клязьма": выбили все лицо.

- Но нет худа без добра. Я взял, добавил туда раствора и написал лицо фреской, по сырому. И получилось замечательно: нежное лицо в обрамлении мозаики - как икона в окладе. Понимаете? Тогда уж срочно пришлось выбивать руку и тоже писать фреской. Только ноги остались в мозаике. Честно сказать, на них уже просто не хватило силенок. Ведь это не просто: вырубить мозаику, добавить раствора и написать. Это нельзя механически делать, нужен какой-то душевный порыв. Так я и оставил. Но когда находит щепетильность, я вспоминаю, что за мной неоплаченный должок... Другая мозаика тоже упала и разбилась. Я переделал всю левую половину лица, а в фон вернул золото. Раньше я его убрал, а тут вернул. Золота у меня не хватало, и я местами сделал просто желтый камень. Получилось даже лучше. В пасмурную погоду лучше выглядит золото, но в солнечную погоду оно иногда бликует, иногда от зеленой травы отсвечивает темным. А желтый камень - всегда яркий...

(Думал ли тогда кто-нибудь, что много лет спустя новое пансионатское начальство, проводя ремонт, все эти мозаики просто сломает и выбросит на свалку?)

Разговор происходил в ноябре 1963 года. Мы сидели у него в комнате на Волхонке. Маленькая, метров пятнадцать, она казалась еще меньше из-за огромного рыжего рояля, который занимал ее большую часть. Он жил здесь с женой, сыном и двумя дочерьми. Кругом соседи, требовавшие тишины уже в половине одиннадцатого. На полках мелкая скульптура, керамика. Впечатление бедности и тесноты.

Мы пришли поддержать и утешить Бориса Петровича: в тот день, 28 ноября в молодежном клубе должна была состояться его выставка, едва ли не первая, во всяком случае, на нашей памяти, короткая, дня на два, без каталога. Но утром того же дня прибежали какие-то райкомовские деятели, сказали, что был звонок из ЦК - выставку, с таким трудом подготовленную и размещенную, отменили.

Борис Петрович в стареньком свитере с оттянутым воротом сидел за столом, ел ливерную колбасу с хлебом, пил крепко заваренный чай. Утешать его вовсе не пришлось, наоборот, он нас убеждал не расстраиваться.

- Я к этому привык и даже понимаю, в чем дело. Конечно, что ЦК заинтересовался моей скромной фигурой, я не очень верю. Просто в МОСХе нашлись люди, которым не понравилось, что меня приглашает молодежь. Им бы хотелось, чтоб их пригласили, но их не приглашают. Поэтому они сначала дали согласие - чтобы отметить выставку в плане своих мероприятий, а потом постарались, чтоб ее не было... Но мне все же принесло большую пользу, что я готовил эту выставку. Я смог посмотреть, что у меня получилось, что нет. Как мои картины смотрятся на стене. Увидел множество недостатков. Это большой труд. На весь зал, по правде сказать, силенок не хватило, я только половину развесил. Ведь это не просто так - развешивать, нужно каждую стену решить... Нет, большая была польза...

Это, как рефрен, повторялось во множестве ситуаций, с убеждением искренним. Он был из поколения художников, где одни оказались развращены, другие задушены; выстоять удавалось немногим, и то не без потерь. Все время требовалась какая-то внутренняя самозащита.

Однажды мы пришли к нему, когда он ждал представителей выставкома, отбиравших работы для выставки "Москва". К тому времени у него уже было подобие мастерской - склад для хранения работ какой-то детской студии. (А прежде работал у себя дома под лестницей). Это был подвал, вызывавший мысль о новостройке, с которой еще не вынесен строительный мусор: цементная пыль, камни, красные и голубые кирпичи, стеллажи из необструганных досок, похожие на строительные леса. К стенам прислонены огромные плиты мозаик и фресок - дивные работы Бориса Петровича; но ни нормального освещения, ни возможности отойти, чтобы охватить их взглядом, как следует.

Борис Петрович сидел среди всего этого хаоса и читал "Поэтику" Аристотеля. Между плитами, шебурша разнообразным мусором, бегала белая мышка без одной лапки. Кто-то из нас опрокинул ее банку с водой, она подбежала к ногам Бориса Петровича. Он сразу понял, что произошло, налил воды, мышка долго пила, потом зашебуршала с удвоенной энергией.

Мы принесли с собой колбасы (и водочки), он обрадовался: вот хорошо, а то я с утра ничего не ел. На Клязьме, пожаловался, жить ему было дороговато: 90 копеек за одну еду, да на папиросы 60 копеек, на чай, на сахар - всего рубля два.

- Какая у вас красивая борода, - сказала Галя.

- Да, с трудом отбиваюсь от желающих меня нарисовать. Работал за городом, никто не видел, вот она и отросла...

Члены выставкома, придя, даже не раздеваться не стали и подвал не осматривали, взглянули только на эскиз фрески "Москва": прекрасная женская фигура, мотив лучших работ Чернышева, а за ней нелепый флаг с надписью "Мир".

- Я представляю так, - объяснял он, - что Москва - это мир... - и было неловко за это вынужденное юродство и уродство. Но тех интересовали все какие-то оргвопросы: надо будет принести на выставком детальный эскиз, вы же знаете, какая это будет выставка, там нужны прежде всего портреты передовиков...

И не посмотрев на шедевры вокруг, ушли.

- Ну и типы, - сказал я.

- А они были просто ошарашены, - сказал Борис Петрович. - У них ведь самих ничего нет. Они ничего не делают, вот только ходят. Увидели, сколько у меня наработано...

Зачем он это нам говорил? Ведь сам не верил.

- Но хоть бы они понимали что-нибудь в искусстве. - Он уже немного хлебнул, хотелось, видно, выговориться. - А то ведь не понимают ничего. Да мне все равно. Примут, не примут, буду работать для себя. Только жрать-то надо... Конечно, я эту Москву не всерьез делал. Да и нельзя всерьез писать Москву или Россию, это же смешотворно. Я бы мог написать им такую Москву, чтобы сразу приняли. Только вставить ей в лоб звезду и дать серп с молотом. Но это же не дело...

Нотка усмешливой горечи звучала теперь все отчетливей. Понемногу он разошелся.

- А вообще у меня нет работ, от которых я бы отказался. Если мне работа не нравится, я ее просто уничтожаю. Хотя, бывает, сделаешь, например, скульптуру, уже обожжешь, но чувствуешь: не нравится. И уже отложишь ее, чтобы разбить. Но проходит время, смотришь опять - нравится. Или придет кто-нибудь в гости, попросит на память именно эту скульптуру - которую хотел разбить. И ты думаешь: почему именно она ему понравилась? И сам благодарен ему... Нужно время, чтобы оценить работы.

Как-то он пришел к Гале в общежитие, принес показать свои рисунки - удивительные. За стеной пели, Борис Петрович пил шестидесятиградусный ром, стал рассказывать, как любили солдаты петь грустные песни по дороге на фронт, как он шел с отрядом по

пустыне и мучился жаждой, как пили воду из ямок в песке...

- Хорошо я себя чувствую в студенческом общежитии. Вот недавно я был у физиков, там был шикарный стол, но они плохо себя вели. Они хотели показать, что они миллионеры, а видно было, что они только что из грязи да в князи. Как-то неэстетично у них все это получалось. А я, знаете ли, эстет.

И про то, что он - корабль, который плывет где-то посредине течения, сам по себе, ни влево его не тянет, ни вправо, и что эти вот рисунки когда-нибудь будут стоить 500 рублей каждый.

- Этим летом я сделал самые лучшие свои работы. Потому что приступил к ним так, будто я ничего прежде не делал и ничего не знаю, не слышал ни о кубистах, ни об импрессионистах. Делал, не думая, что кто-нибудь будет это смотреть, понимаете?.. У меня этих работ мало осталось, все роздал...

Последний раз я встретил его в феврале 1967 года на персональной выставке, в зале по улице Вавилова. Впервые собранные вместе, при сносном освещении, его работы поражали, как никогда: выявлялось их внутреннее единство, цельность, глубина. Не берусь описывать словами эти нежные, сдержанные тона, эти едва намеченные, неуточненные очертания: чем дольше вглядываешься в них, тем больше тебе открывается. Там же были "Однополчане", единственная в своем роде фреска на обугленных досках (может быть, подобранных на пожарище, может, обожженных специально). Лица солдат как бы проступают из обугленной среды, из обугленных воспоминаний...

У Бориса Петровича борода отросла еще больше, стала почти совсем седой и еще красивей. Рука, протянутая для рукопожатия, такая же неотмываемо черная, маленькая и изящная. Из-под голубой рубашки, надетой по случаю торжества, выглядывает драная фуфайка.

Мы потом зашли к нему на чаек, в чью-то чужую мастерскую. По пути заглянули в магазин, купили колбасы, водки, хлеба, пили из неотмытых, со следами краски, стаканов.

- Работать в пьяном виде не рекомендую, - говорил, повеселев, Борис Петрович. - Но смотреть в таком виде свои работы очень неплохо. Все ясно видно.

В черных пальцах все время сигарета, он много курил, покашливал. О чем мы говорили в тот раз, я не записал. Запомнилась единственная фраза: "Вот, вроде бы все теперь есть, а работать труднее".

О его смерти мы узнали случайно, из газетного сообщения. Гроб стоял в том же зале на улице Вавилова, где два года назад была выставка. Бледное умиротворенное лицо с еще более утончившимися чертами, острым красивым носом - стариковское, и в то же время проявилось в нем что-то детское.

Все-таки есть какая-то справедливость, - думал я, - по какому-то закону среди всей нищеты и невзгод до самой смерти все прекрасней становилось его лицо. Не случайно же. Это не всем дается, это соответствовало какому-то развитию души, ума, творческих способностей, которые ему дано было сохранить до конца дней.

Пожалуй, даже знавшие и любившие его лишь к концу его жизни начали понимать подлинный масштаб этой фигуры - и понимание это с годами продолжает расти и утверждаться, пусть пока в сознании немногих: это уже залог посмертной судьбы.

Он оставил после себя не только работы в материале более или менее стойком. Есть ценности, порождаемые самим существованием таких людей, как Борис Петрович, присутствием их духа, их мысли. Они могут проявляться в работах его учеников, в чьей-то памяти и будут передаваться дальше, словно частица некоего фермента, необходимого для доброкачественного существования и продолжения культуры.